



Георгий САТАЛКИН

(1938 — 2020)

В ТЕНИ ДОЖДЯ

В голубых небесах, в сияющем облачном кружеве, в млечной гуще вдруг сдержанно, притворно строго кашлянул в кулак гром, и свежий рокот его весело покатился по невидимым ступеням вниз, к горизонту. И тотчас же, после паузы короткой, бездыханной, с бешеным, рвущимся шипением, кипящим треском, так ударило, так грохнуло гулко, бездонно, что плотно содрогнулись земля, и воздух, и всё мирозданье, и далёкий грозный гул где-то в подвалах уже сотрясал земную основу.

Редкий светлый бисерный дождик вдруг сменился тёмно-сверкающим ливнем, и матовая дождевая тень накрыла огород, белёную хату под соломенной кровлей с подслеповатыми окошками под нею, сад — всю округу. Далеко за дождевой тенью этой, в солнечно-синем дыму кто-то бежал в красной косынке, а ещё дальше, едва различимая в лиловатом масле воздуха, неслась подвода вскачь, и стоявший человек

махал, приседая, на лошадей ручкой — сёк их невидимым кнутом.

Анютка, девчушка лет десяти, полола как раз картошку, окучивая её по второму разу. Давно уже нужно было сделать это, картошка перерастала, и Анютка со старательной торопливостью, изо всех силёнок своих махала тяпкой, не обращая внимания на первый дурашливый гром, на алмазный бисер начального дождичка. И вымокла до нитки под столбовым, рухнувшим следом ливнем.

Какое-то время в радостной растерянности она стояла среди огорода. И в следующий момент, оставив тяпку торчать в приникшей картошке, кинулась бежать, перепрыгивая через рыхлые грядки, мельком замечая, как срубленная трава безжизненно уже белеет на потемневшей земле.

Рукоятка мотыги, одиноко торчавшая, омытая уже дождём, янтарно стеклилась и как бы смеялась беззвучно, глядя на козлиные прыжки голенастой девчонки.

Опять шваркнуло низко, почти на земле, со звоном и стоном пошло вздыматься тяжело, неподъёмно вверх, и оттуда, из мглы крошечной беззвучно, жутко, остервенело дёрнула острыми локтями белая — в зелени с красным — молния. Анютка присела, почти упала на руки.

По двору деловито, с истовой целеустремлённостью, вытянув голову с круглыми глазами, неслась вперевалку курица — прятаться под навес куда-нибудь. Потом ещё одна, отощавшая сразу под дождём, за нею в обмокшем наряде своём сконфуженно улепётывал чёрно-красный петух. Подхватившись вслед за ними, побежала и Анютка к сараю, где был сеновал. И прямо на пороге настиг её ещё один хлёткий, саданувший над нею удар разгневанного грома — к-кк-кудд-а-а-а-у-а-а-а?!

Пулей, с колотящимся сердчишком, испуганная не на шутку, влетела она в сухой, душный сумрак сарая. Теперь не страшно! Оглядевшись, Анютка увидела мешок для травы — заплатка на заплатке и дыра на дыре. Она схватила его и вытерла омытое дождём загорелое, ясное, всё засветившееся гладко в тёмном воздухе личико своё. Зеленоватые, в чистых белках глазёнки её блестели восторженным испугом. Грубой мешковиной вытерла она руки, забрызганные грязью, в прилипших листиках и нитках травы ноги, по жердяной,

играющей под нею лестнице полезла на сеновал. И в счастливой отраде, в изнеможении свободы и воли рухнула на молодое, недавно ещё совсем свежённое сюда сено, в гущу горьковато-сладких, душистых, тёплых запахов. Уф! — вздохнуло и слегка подбросило её сено.

Как хорошо — дождь! За всё лето, с самой ранней весны, с пахоты самой, с посадки картошки, свёклы, капусты и прочего — это одна-единственная возможность без угрызений совести избавиться от работы, разогнуться и на небо поглядеть. Забыть и не думать о непрерывных делах и заботах по их с сестрою убогому, сиротскому, но всё-таки хозяйству: корова, куры, чушка ещё и огород, огород, огород...

Она лежала, раскинувшись на сене, слушала мерный, сдавленный шорох дождя по соломенной крыше, с улыбкой смутной улавливала изредка доплывающий к ней водянистый, тревожно-свежий, усиливающий и оттеняющий душно-душистое тепло сеновала запах дождя, сырости водяной. Руки блаженствовали, сладостно гудели, невесомо покоились отогревшиеся ноги. И сердчишко её почти разрывалось от счастья.

Тёмные дождевые волосы её уже пушились. Ситцевое излинявшее платишко липло к телу и ознабливало слегка. Но это пустяки. Где-то далеко-далеко ощущение это поскобливало, досаждало... Пусть, не привыкать.

Счастье её было не только в блаженстве неожиданного отдыха. Что-то ещё до краёв наполняло душу. Затаившись, почти не дыша, вглядывалась, вслушивалась в самое себя — она росла, травинкой тянулась к будущей, неведомо-прекрасной жизни, уходя от пережитого, прожитого и не в силах от него оторваться...

Когда она вырастет, когда старшая сестра Ольга — хоть она и работает в колхозе, да ей пятнадцать всего — взрослой совсем станет, сиротами они уже не будут. Взрослый... он... ведь не сирота? Взрослый сиротой... не бывает?

Мать умерла год всего назад. Отец пропал без вести на войне. Но и с мамкою жили они так скудно, что только картошку сырую не ели. У них в Семёновке примета такая, ставшая поверьем, ходила: кто сырую картошку с голодухи, не дожидаясь, когда сварится она, грызть начинает, тот уже не жилец на этом свете... Помнит Анютка, как один раз — после войны, кажется, сразу — забрёл к ним нищий старик. Они как раз вечеряли: в глиняные миски мать налила варево из одной лебеды, чуть забелённое молоком. Старика усадили за стол и ему налили, он хлебнул одну ложку, сосредоточенно нахмурился, стал жадно хлебать и пережёвывать неизвестно что, деловито помаргивая и время от времени приговаривая:

— Ничогэнький борщок!.. Ничогэнький...

Ещё вот вспомнилось: Анютка так мала была, что подставляла скамеечку, чтобы можно было рогачом чугуны двигать на шестке русской печки.

Один раз скамеечка взбрыкнула, и она полетела вместе с чугуном, полным картошками с водою, на пол. Как она редела! Теперь-то весело Анютке вспоминать пустячный случай этот и удивляться безутешным слезам своим тогдашним.

Она уже давным-давно забыла, что плакала вовсе не от бессилия своего, а от того, что не успеет картошку сварить к приходу матери и старшей сестры, и те, до изнеможения уставшие, молча огорчатся, мать бледными губами улыбнётся и погладит Анютку по голове, и над улыбкой полуживой этой, над шершавой рукою матери — не заслужила ласку её она! — а не над опрокинутым чугуном так рыдала, так убивалась Анютка когда-то...

Гром не грохотал больше. Где-то за пределами земными мигала молния. Свет её трепетал в дверях сарая, не проникая в густой, насупленный сумрак его. Дождь равномерно шумел. Шум его дробили звуки булькающих наплывных капель, частивших то мерно, то вразной по лодочкам луж под стенами...

Но как Анютка дальше-то оконфузилась! Наревевшись, нарыдаввшись, наплакавшись, она уснула! Прямо на глиняном полу у тёмного сырого пятна. Уснула, разбитая переживаниями, горем

отчаянным своим, со слипшимися ресничками, в корке высохших слёз на разрумянившихся щеках, со спутанными, разметавшимися волосёнками. То-то смеху им всем было, когда мамка с Ольгой застали её, хозяйку, в положении таком!

И никто, никто не мог догадаться — даже мама, — отчего это младшенькая её весь вечер при первой же возможности берёт её тяжёлую, всю во вздувшихся жилах руку. И Ольга, помнится, ревниво, с сердитой улыбкой накричала на сестрёнку свою: чего липнет к уставшей до смерти матери!..

Слушая шум дождя, Анютка в забытии своём горько-сладостном не отпускала то ощущение счастья, свободы, отдыха, которое дала ей гроза. А радость и то весёлое возбуждение, которые возникли в ней с первых ударов грома, подпитывало ещё одно, совсем недавнее событие — чудо какое-то, а не событие!

К соседям Анютки, к сверстнице её и подружке Палашке Баранке приехал в отпуск старший брат, офицер. В мундире с блестящими золотыми погонами, в фуражке с кокардой, в сапогах чёрно-зеркальных — глаза от всего этого слепли! Вся улица их, весь Вяльковский конец и явно, и украдкой любовались и со смиренной завистью гордились им.

Но не это главное, чудо не в фуражке с погонами заключалось!

С ним приехала молодая жена, настоящая горожанка. Таких никто вообще в деревне не видывал ещё. Анютка не удивлялась, не восхищалась, не восторгалась — сил не было. Стыло, безотрывно, издали, издали только смотрела она на небывалое это явление в жизни маленькой её. И почему-то перестала навещиваться к Палашке — не захотела! — и почему-то у себя во дворе не могла видеть подружку свою заветную, пряталась даже несколько раз от неё.

А вчера, в полдень самый распаренный, душный, она вдруг, сама не зная как, очутилась в сенях Баранкиной хаты. И здесь возле дверей увидела туфли, тихо и безмятежно сияющие лодочки на невысоком каблучке. И эти туфли принадлежали — Ей! Закрыв глаза, с полуулыбкой на ясном загорелом личике своём Анютка вступила босыми ногами в туфли и бесконечно долгую, бездонную, головокружительную секундочку постояла в них. А затем в ужасе дерзости своей, праздничного, запретного счастья кинулась на цыпочках прочь из сеней, и полетела, и очулась только на сеновале.

Никогда никому не скажет она про то, как стояла в чужих туфлях. Никто её не поймет, а это слишком для неё серьёзно, и даже Ольгу в первую греховную тайну свою она посвящать не станет. Ну, может быть, потом, когда-нибудь...

Утревшись, Анютка под мерный шум дождя думала как-то обо всём сразу: о матери с Ольгой, о дожде, давшем ей такой сладостный отдых, о старике нищем, который похваливал их «борщок» из одной лебеды, о взрослых туфлях, в которых почастливилось ей постоять. Но под этими то горькими, то радостными воспоминаниями медленно, трудно поднималась одна сплошная мысль о работе.

Анютка стала задрёмывать. Глазки её повело вверх, реснички смеживались, слипались. Улыбаясь тихо, отдалённо, она невесомо опускалась куда-то...

Бедная, маленькая, бесконечная труженица моя... Не спи! Ты же знаешь, как трудно будет переламывать себя, как болезненный

озноб из самой глубины существования твоего начнёт тебя лихорадить. А ещё от того лихорадка зажжётся, что, проспав лишнюю минуту, станешь ты торопиться, спешить непосильно. Надо рвать траву свинье — лебеду, сныть, щерицу. А всюду последождевые крупные, холодные капли развешаны, и платяишко твоё, ещё не просохшее, опять вымокнет до нитки. А потом за ужин браться — печь топить. За стирку, с утра начатую, хвататься. А потом корова из стада придёт. Ольга вернётся с мотыгой на плече и с пустым узелком с буряков, с прополки...

Не спи. Поднимайся.

Дождь уже перестал, а тебе всё ещё кажется, что шуршит он... сладко шуршит по соломенной крыше.